

*Моему отцу  
Гюндюзу Памуку  
(1925–2002)*

**Лишь тот пейзаж красив,  
что навевает грусть.**

*Ахмет Расим*



# 1

## Другой Орхан

В детстве я верил — и эта вера на долгие годы осталась где-то в глубине моей души, — что на одной из стамбульских улиц есть дом, похожий на наш, и в этом доме живет другой Орхан, во всем похожий на меня, как близнец, как двойник. Откуда у меня взялась эта мысль, я не помню. Скорее всего, она появилась не сразу, а стала результатом сплетения в детском сознании неверных догадок, случайных совпадений, заблуждений и страхов. Чтобы объяснить, что я чувствовал, я должен рассказать об одном из первых случаев, когда она проявилась в моей голове вполне отчетливо.





Однажды, в возрасте пяти лет, меня на некоторое время увезли из родного дома. После очередной ссоры и временно-го расставания отец и мать уехали мириться в Париж, оставив меня и моего старшего брата в Стамбуле. Брат остался в Нишанташи, в родовом доме семейства Памук, с бабушкой и прочими родственниками, а меня отправили в Джихангир к тете (маминой сестре). В этом доме, обитатели которого встретили меня любовью и улыбками, на стене в белой рамке висел небольшой детский портрет. Время от времени тетя или ее муж, показывая на него, с улыбкой говорили мне: «Посмотри-ка, это ведь ты!»

Симпатичный большеглазый мальчик, изображенный на рисунке, действительно был немного похож на меня, и на голове у него была точь-в-точь одна из тех кепок, в которых я выходил на улицу. И все же я понимал, что это не совсем мой портрет. (В действительности это была репродукция ев-



ропейского рисунка, изображающего «хорошего мальчика» в стиле китч.) Я все думал, не может ли это быть какой-то другой Орхан, живущий в другом доме.

Но сейчас я и сам переехал в «другой дом», словно это было нужно для того, чтобы встретиться с моим двойником, живущим где-то в глубинах Стамбула. Однако перспектива этой встречи меня совсем не радовала. Я хотел вернуться в настоящий дом — в дом моей семьи. Когда мне говорили, что на портрете на стене — я, мои мысли начинали немного путаться, в голове у меня кружились, сплетаясь друг с другом, я сам, мой портрет, рисунок, похожий на мой портрет, мальчик, похожий на меня, и «другой дом», плод моего воображения; и я хотел вернуться домой, к своей семье, чтобы никогда больше оттуда не уезжать.

Желание мое сбылось, и вскоре я вернулся в родовое гнездо. Но завораживающее видение другого Орхана, живущего

в другом доме где-то в Стамбуле, меня не покинуло. В детстве и ранней юности меня часто посещали мысли о моем двойнике. Иногда, проходя по стамбульским улицам, я, глядя на освещенные оранжевым светом окна, представлял себе счастливых и спокойных людей, мирно живущих за ними, и, когда я пытался разглядеть, что происходит внутри, меня на мгновение пронзала мысль о том, что в одном из этих домов живет другой Орхан. По мере того как я выросел, видение возвращалось все реже и наконец стало приходить ко мне только во сне. Порой, когда во сне я встречался с другим Орханом — неизменно в другом доме, — я просыпался, крича от страха; но иногда мы молча смотрели друг на друга с удивительным и безжалостным спокойствием. Когда я просыпался, то чувствовал, как сильно я привязан к моей подушке, к моему дому, к моей улице, к району, в котором живу. Когда же я чувствовал себя несчастным, то мечтал о том, чтобы переехать в другой дом, туда, где живет другой Орхан, и зажить его жизнью; и в какой-то момент даже начинал немного верить в то, что стал другим Орханом. Эти грезы так меня утешали, что переезжать в другой дом уже не было необходимости.

К чему я, собственно, это рассказываю? Дело в том, что за всю свою жизнь я так никуда и не переехал из своего района, со своей улицы, из своего дома. И я уверен: то, что сейчас, пятьдесят лет спустя, я по-прежнему живу в нашем старом доме (впрочем, за это время успев пожить и в других районах Стамбула), там, где мама, взяв меня на руки, впервые показала мне мир, там, где были сделаны мои первые фотографии, — как-то связано с утешительной мыслью о существовании другого Орхана. Мне кажется, что и своеобразие моего рассказа о себе — и, стало быть, о Стамбуле — проистекает из того, что в эпоху миграций и писателей-переселенцев я умудрился прожить пятьдесят лет на одном месте, более того, в одном и том же доме. «Вышел бы ты на улицу, сходил бы куда-нибудь или съездил», — печально говорила мне, помнится, мама.

Есть писатели, такие как Конрад, Набоков, Найпол, которые, сменив язык и культуру, покинув свой народ, родину,

континент и даже влившись в другую цивилизацию, с успехом продолжают писать. И я знаю, что если их творческие силы только крепили от изгнания или скитаний, то я как писатель сформировался именно благодаря этой неразрывной связи со своим домом, улицей, городом, видом из моего окна. Такая привязанность к Стамбулу накладывает на характер человека отпечаток судьбы этого города.

Флобер, побывавший в Стамбуле за сто два года до моего рождения, под впечатлением от его многолюдности и разнообразия написал в одном из своих писем, что он уверен: через сто лет Константинополю суждено стать столицей мира. Но Османская империя рухнула и исчезла с лица земли, и его предсказание сбылось с точностью до наоборот. Когда я родился, роль Стамбула в мире была наименее значительной за все две тысячи лет его существования, он переживал свои самые печальные дни слабости, нищеты, заброшенности и изоляции. Воспоминания о былом величии Османской империи, бедность и заповолившие город развалины, навевающие тоску, — вот с чем всю жизнь ассоциировался у меня Стамбул. И всю свою жизнь я пытался побороть эту тоску или же, как все стамбульцы, наконец сжиться с ней.

Любой человек, задумывающийся о смысле жизни, хотя бы раз задается вопросом о значении места и времени своего рождения. Почему я родился именно сейчас и именно в этом уголке мира? Справедливо ли, что мне, как лотерейный билет, выпали именно эти семья, страна, город, которые я должен был полюбить и в самом деле искренне полюбил? Порой я чувствую себя несчастным из-за того, что родился среди развалин и праха рухнувшей империи, в блекнущем и ветшающем от уныния, тоски и бедности Стамбуле. (Внутренний голос, впрочем, говорит, что на самом-то деле мне повезло.) Что касается материального положения, то иногда я думаю, что я счастливчик, поскольку родился в обеспеченной семье. (Бывает и так, что думаю наоборот.) Как правило, мне удается убедить себя в том, что нет смысла переживать по поводу



своей внешности (эх, был бы я покрепче да посимпатичнее!) или пола (будь я женщиной, неприятностей от этого было бы не меньше). Это — моя судьба, и я понимаю, что Стамбул, город, в котором я родился и провел всю жизнь, тоже стал моей судьбой. Книга, которую вы держите в руках, — об этой судьбе.

Я родился в Стамбуле 7 июля 1952 года в маленькой частной клинике в районе Мода вскоре после полуночи. Коридоры клиники и мир вокруг нее были погружены в ночную тишину. На нашей планете, за исключением извержения неожиданно проснувшегося двумя днями ранее в Италии вулкана Стамболини, все было спокойно. Среди газетных заметок о воюющих в Северной Корее турецких солдатах появились не привлекавшие особого внимания сообщения о том, что, по данным из американских источников, северяне, возможно, готовятся применить биологическое оружие. За несколько часов до моего рождения мама читала другие новости, вызвавшие у нее, как и у большинства жителей Стамбула, большой интерес, — новости о событиях, имевших место в нашем городе. Два дня

тому назад, ночью, в районе Ланга при попытке проникнуть в дом через окно уборной был замечен вор-рецидивист в устрашающего вида маске. Сторожа и отважные студенты из Конийского общежития пустились за ним в погоню и в конце концов загнали на склад пиломатериалов. Там злоумышленник, покрыв полицейских напоследок отборной бранью, покончил жизнь самоубийством. А днем позже при опознании тела один торговец тканями узнал в нем бандита, который за год до этого среди бела дня совершил вооруженное нападение на его лавку в Харбийе. Мама читала эти новости в полном одиночестве, поскольку, как много позже она рассказала мне с некоторой обидой, отец, уложив ее в клинику, заскучал в ожидании родов и отправился повидаться с друзьями. Поздно вечером, перебравшись через садовую ограду, к ней в родильную палату пришла ее сестра, и больше никого из родственников рядом не было. Увидев меня в первый раз, мама подумала, что по сравнению с моим братом, родившимся двумя годами раньше, я выгляжу слабым, хрупким и худеньким.

«Мама подумала...» Я употребил здесь простое прошедшее время, а надо было бы — прошедшее с окончанием — *miş*. Я очень люблю это время, которое в турецком языке используется, когда мы рассказываем сказки, говорим о своих снах и вообще о том, что на самом деле с нами не происходило или происходило, но не с нами; когда мы пересказываем то, что слышали от других. Это время весьма уместно и в рассказе о тех временах, когда мы лежали в колыбели, катались в коляске или делали свои первые шаги, — ведь о первых годах нашей жизни мы узнаём от родителей спустя годы и, с напряженным интересом внимая их рассказам, как будто смотрим со стороны на чьи-то чужие первые шаги и слушаем чьи-то чужие первые слова. Это волшебное ощущение, похожее на то, что мы переживаем, видя себя во сне, способствует появлению привычки, которая сопровождает нас всю жизнь: привычки судить о смысле всех событий нашей жизни — и даже



самых сильных ее наслаждений — на основании чьих-то чужих мнений. Выслушивая рассказы о нашем детстве, мы охотно верим им, а позже начинаем воображать, что и в самом деле помним то, о чем нам рассказали, и уже сами делимся с другими этими «воспоминаниями»; таким же образом то, что было сказано другими по поводу различных пережитых нами событий, с течением времени не только превращается в наши собственные суждения, но и становится важной частью наших воспоминаний об этих событиях. Так же как мы усваиваем чужие суждения о жизни, мы, как правило, перенимаем у кого-то и мнение о городе, в котором живем.

Иногда, когда я принимаю чужие слова о себе и о Стамбуле за свои собственные воспоминания, я говорю себе, используя то самое время с окончанием — *miş*: «Вроде бы занимался я когда-то живописью... Говорят, что родился и вырос я в Стамбуле, был любознательным ребенком... Долго ли, коротко ли, исполнилось мне двадцать два года, и взялся я ни с того ни с сего писать роман...» В таком духе я хотел было написать и эту книгу — чтобы рассказать обо всей моей жизни так, как будто говорю о ком-то другом, как будто пересказываю волшебный сон, в котором слабеют голос и воля. Однако мне думается, что язык сказок неубедителен — ведь он описывает жизнь словно этап, предшествующий другой, второй жизни, более «настоящей» и яркой, в которую мы переходим, как будто просыпаемся. А для таких, как я, возможность прожить вторую жизнь заключается не в чем ином, как в книгах, подобных той, что ты, читатель, держишь сейчас в руках. Осуществление этой возможности зависит и от тебя. Я буду с тобой честен — отплати же мне за это своим благосклонным вниманием.

## Фотографии в музейной темноте

Наше семейство — мама, папа, брат, бабушка, сестры отца и его братья со своими женами — обитало в пятиэтажном доме, занимая все его этажи. Еще за год до того, как я родился, все они жили, подобно большой семье османских времен, в разных комнатах на разных этажах большого каменного здания, находившегося неподалеку. В 1951 году это здание было отдано в аренду частной начальной школе, а наше семейство переселилось в построенный на соседнем участке «современный» жилой дом, на четвертом этаже которого моя семья живет и по сей день. К входной двери, как было принято в те времена, была прикреплена табличка, гордо извещавшая: «Дом семейства Памук». Когда я был еще маленьким и путешествовал по этажам нашего дома на руках у мамы, на каждом из этих этажей было по фортепиано, а то и по два. На первом этаже жил один из моих дядей, который остался в моей памяти вечно читающим газету. Женившись позже всех своих братьев, он и поселился ниже всех вместе со своей супругой и ее фортепиано, проведшей следующие полвека сидя у окна и созерцая проходящих по улице людей. Никто никогда не играл ни на этом фортепиано, ни на других, и они вызвали у меня печаль и тоску.

Не только молчащие фортепиано, но и всегда запертые буфеты, за стеклами которых были выставлены серебряные сервизы, китайский фарфор, чашечки, сахарницы, табакерки, хрустальные фужеры, флаконы для розовой воды, тарелки, кафельницы и спрятанная когда-то среди них маленькая

игрушечная машинка; никогда не использующиеся подставки для книг, инкрустированные перламутром, и пустые полочки для кавуков<sup>1</sup>, висящие на стенах; ничего не загораживающие ширмы с рисунками, копирующими стиль модерн или японскую живопись; книжный шкаф моего дяди-врача, заставленный облаченными во внушительные переплеты пыльными книгами по медицине, стеклянные дверцы которого ни разу не открывались с тех пор, как дядя эмигрировал в Америку, — все эти предметы обстановки, заполнявшие гостинные на каждом этаже, были, как мне чудилось, расставлены здесь не для того, чтобы жить среди них, а для того, чтобы среди них умирать. (Иногда какой-нибудь журнальный столик или резной сундук таинственным образом перемещался с одного этажа на другой.)

Когда нам с братом случилось неловко плюхнуться в одно из инкрустированных перламутром и украшенных канителью кресел, бабушка строго говорила нам: «Сядьте как следует!» Конечно, причиной превращения жилых комнат из места, предназначенного для уютной и спокойной жизни, в подобие



## 2. Фотографии в музейной темноте

музея, ожидающего неких гипотетических посетителей, которые могут явиться когда угодно, было стремление обитателей дома «жить как на Западе». (Человека, не соблюдающего пост в Рамазан, гораздо меньше мучат угрызения совести, если он живет среди буфетов и фортепиано и сидит в кресле, а не на подушках, скрестив по-турецки ноги.) Поскольку люди не очень-то понимали, зачем еще, кроме избавления от предписаний религии, нужна европеизация, они почти не пользовались своими гостинными, превращая их в печальный и порой поэтичный символ богатства и жизни на западный манер. Этот обычай, за пятьдесят лет распространившийся не только в Стамбуле, но и по всей Турции, начал исчезать только в конце 1970-х годов, с появлением в домах телевизоров. Людям понравилось собираться всей семьей перед экраном, вместе смотреть фильмы и новости, весело беседовать. Из подсобия музеев гостинные стали превращаться в миниатюрные кинозалы. Но я помню, что даже в те годы в некоторых семьях было принято ставить телевизор в какую-нибудь маленькую комнатку, напоминающую прихожую, а запертые двери музея-гостиной открывать только по праздникам или в случае прихода особо почетных гостей.

С этажа на этаж, как это бывает в доме, в котором живет одна большая семья, все время кто-нибудь ходил, поэтому двери квартир, как правило, не запирались. Когда брат начал ходить в школу, я, иногда спросив разрешения у мамы, а иногда и вместе с ней, по утрам — в это время бабушка еще спала — поднимался на верхний этаж, в гостиную, в эти часы особенно похожую на антикварную лавку: тюлевые занавески на окнах и тени от домов, стоящих на другой стороне узкой улочки, погружали ее в полутьму. Там, ползая по большим тяжелым коврам, я играл во что-нибудь сам с собой. Расставлял привезенные из Европы игрушечные машинки в идеальном порядке, играя в автостоянку; представлял, что ковры на полу гостиной и коридора — море, а кресла и столы — возвышающиеся над ним островки; изображал «жизнь на деревь-

ях», прыгая по диванам и креслам так, чтобы не касаться ногами пола, и воображая себя персонажем романа Итало Кальвино<sup>2</sup> «Барон на дереве», который провел всю жизнь на деревьях, не ступая на землю; или, оседлав подлокотник кресла, упоенно пребывал возничим кареты — одной из тех, что мне доводилось видеть на Хейбелиаде<sup>3</sup>. Когда уставал от игр или, чаще, когда мое воображение уставало, борясь со скукой, превращать гостиную во что-то совершенно иное (воображению предстояло заниматься этим всю мою жизнь, только в дальнейшем гостиная уступила место школьным классам, университетским аудиториям, армейским казармам, больничным палатам и кабинетам государственных учреждений), я принимался осматриваться вокруг в тщетной надежде увидеть на журнальных столиках, больших столах или стенах что-нибудь интересное, но, кроме фотографий, ничего интересного там не было.

В то время я думал, что фортепиано, стоящие на нижних этажах, нужны именно для того, чтобы расставлять на них фотографии в рамках. В бабушкиной жилой комнате и в ее гостиной все горизонтальные и вертикальные поверхности были заставлены и увешаны фотографиями самых разных размеров. На самом почетном месте, на стене над камином, в котором никогда не разводили огонь, висели, каждая в своей раме, две огромные фотографии, подкрашенные ретушью. На одной из них был дедушка, умерший в 1934 году, на другой — бабушка. Войдя в гостиную-музей, всякий мог понять по месторасположению этих фотографий и по позам бабушки и дедушки, напоминавшим позы королей и королев, которых я видел в те годы на марках некоторых европейских стран, — они стояли, повернувшись друг к другу, и при этом смотрели прямо в камеру, — что именно с этих людей вся история и началась.

Оба они родились в городке Гордес, близ Манисы, и происходили из семейства, члены которого прозывались Памуками<sup>4</sup> — за их необычно бледную кожу и светлые волосы. В моей бабушке текла кровь статных черкешенок, которых на

## 2. Фотографии в музейной темноте

протяжении нескольких столетий поставляли в гаремы османских вельмож. Ее отец во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов перебрался в Анатолию, потом поселился в Измире (время от времени кто-нибудь из моих родственников заводил речь о пустующем доме, оставленном там) и, наконец, вместе с семьей переехал в Стамбул, где мой дедушка учился на инженера-строителя. В начале 1930-х годов дедушка разбогател на щедро финансируемом молодой Турецкой республикой строительстве железных дорог и построил на берегу впадающей в Босфор речки Гёксу большую пеньковую фабрику, производившую широкий ассортимент товаров — от веревочек для сушки табака до корабельных канатов. Он умер в 1934 году в возрасте пятидесяти двух лет, оставив наследство, которое мой отец и дядя, то и дело пускавшиеся в разного рода разорительные предприятия, за многие годы так и не смогли растратить.

Из гостиной можно было пройти в кабинет, на стенах которого в идеальной симметрии были развешаны портреты уже следующего поколения — тоже большие, в рамках, раскрашенные в пастельные тона все тем же фотографом — любителем ретуши. На одной из них был дядя Озхан, пышущий здоровьем толстяк, который, выучившись на врача, уехал в Америку, откуда не мог вернуться, поскольку увильнул от воинской службы, — его отсутствие давало бабушке повод постоянно жить в атмосфере траура. На другой — его младший брат, дядя Айдын, с очками на носу, живший на первом этаже; как и мой отец, он, изучив инженерное дело, с молодых лет стал браться за большие строительные проекты, которые не мог довести до конца. На третьей — моя тетя, долгие годы учившаяся играть на фортепиано и даже ездившая ради этого в Париж. Вернувшись домой, она вышла замуж и на фортепиано играть перестала. Вместе с мужем, преподававшим на юридическом факультете университета, они жили на верхнем этаже, в квартире, в которую через многие годы переехал я и в которой пишу эту книгу.

Вернувшись из кабинета в гостиную — свет хрустальной люстры придавал ей особенно печальный вид, — я начинал разглядывать другие фотографии, черно-белые, нетронутые ретушью; в них куда сильнее чувствовалось дыхание жизни. Среди них были свадебные фотографии братьев и сестры моего отца; снимки, запечатлевшие разные памятные семейные даты; первые цветные фотокарточки, присланные дядей из Америки; фотографии с какой-то свадьбы, на которую мы с родителями и братом ходили все вместе; фотографии членов семейства на берегах Босфора и на площади Таксим в праздничные дни, в саду старого соседнего дома, на фоне дедушкиных и дядиных автомобилей и нашего парадного подъезда. За исключением некоторых чрезвычайных случаев, вроде замены фотографии первой жены американского дядюшки на фотографию его второй жены, все эти фотографии стояли в неизменном порядке, как будто были частью раз и навсегда утвержденной экспозиции старинного музея. И все же, заходя в эту гостиную, я снова и снова в который уже раз начинал рассматривать знакомые изображения.

И каждый новый взгляд на фотографии учил меня понимать важность прожитой жизни и отдельных ее мгновений, выхваченных из потока времени и вставленных в рамку, дабы было видно, что сохранены они не зря. Порой, наблюдая за тем, как дядя пытается добиться от моего брата решения какой-нибудь математической задачи, я переводил глаза на его фотографию, сделанную тридцать лет назад; или, сидя рядом с отцом, просматривающим газеты и одновременно прислушивающимся к шутливому разговору в гостиной (я понимал это по улыбке на его лице), я бросал взгляд на фотографию, где он был запечатлен в моем возрасте, с длинными, как у девочки, волосами, — и у меня появлялось ощущение, что жизнь дается нам именно для того, чтобы мы могли пережить эти главные ее мгновения и заключить их потом в рамку. Иногда бабушка, рассказывая о рано ушедшем из жизни дедушке, словно повествуя о деяниях основателя некоего госу-



дарства, указывала рукой на развешанные на стенах и расставленные на столах фотографии, и ее жест подчеркивал противоречие между неповторимыми мгновениями жизни и ее обычным течением. Я осознал, что эти особенные мгновения, под защитой рамки противящиеся ходу времени, ветшанию вещей и старению людей, наделены особым значением и смыслом; и все-таки при взгляде на них мне становилось немного грустно.

Будучи совсем маленьким, я очень любил семейные вечера, когда все собирались за ужином и вели веселые разговоры, застолья во время Курбан-байрама и Шекер-байрама<sup>5</sup>; встречи Нового года, после которых все садились играть в лото. (Позже, уже став взрослым, я каждый Новый год говорил, что больше уже не приду его отмечать, и каждый раз потом приходил.) Эти семейные трапезы, перешучивания, смех, рождающийся не без влияния алкоголя (дядя пил раки или водку, а бабушка — чуточку пива), убеждали меня в том, что жизнь, не попадающая в рамку, гораздо веселее, и внушали мне